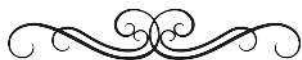






КАРИНА ДЕМИНА



ВНУЧКА БЕРЕНДЕЕВА
ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА



Издательство АСТ
Москва

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Д30

Серийное оформление — *Василий Половцев*

Иллюстрация на обложке — *Дарья Родионова*

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Демина, Карина.

Д30 Внучка берендеева. Летняя практика : [роман] / Карина Демина. — Москва : Издательство АСТ, 2018. — 416 с. — (Волшебная академия).

ISBN 978-5-17-109195-8

Неспокойно ныне в царстве Росском. Того и гляди отойдет царь-батюшка. Недовольны бояре. Плетет интриги царица, пытаясь спасти единственное дитя свое. Беспокоятся маги. Бродит по рукам проклятая книга, по-своему судьбы мира перекраивая. Вот и отправляются студиозусы подальше от столицы беспокойной, в которой мятеж зреет. Глядишь, на свежем воздухе целее будут. Да только сколько ни беги, а со своей дороги не сойдешь. И встречает гостей проклятая деревня. Пробуждаются к жизни болота. Азары и те не дремлют, готовые кровь негодного наследника пролить. И как Зославе быть? Разве что поступить по совести, а там уж как Божиня судит...

УДК 821.161.1-312.9

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-109195-8

© К. Демина, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018



ГЛАВА 1

ПОДОРОЖНАЯ



Грукали¹ колеса, прыгаючи по камням. А чем дальше, тем больше оных каменьев встречалось. Ох и неровная ныне дороженька — то ямина, то ухабина, этак, глядишь, до Выжаток и не доползем засветло. Я поводья подобрала и цокнула языком, поторапливаючи коняшку. Надо сказать, что скотина нам досталась на диво спокойная, сонная, идетъ-бредеть, головой киваетъ, сама себя убаюкиваючи. И не пугаютъ ее ни добры молодцы в броне да при оружии, ни ельник темнющий, ни даже сова, которая, на день не поглядевши, перед самой конской мордой проскользнула. Я и то охнула, семки рассыпавши, а кобылка наша только вздохнула тяжело, дескать, никаких условий для жизни.

Я поерзала.

Притомилась, честное слово, сидючи.

Оно-то, может, и полегше, чем в седле да на тряской конской спине, а все одно... С утра едем, в полдень только над речкой остановились, коням роздыху дать, да и люди не из железа, чай, кованы. Вона, упрели в своих кольчугах. Лойко Жучень красен сделался, что рак вареный. Ильюшка пот рукавом обтирает. Еська и тот примолк.

Молчит да на телегу нашу поглядывает.

На меня, стало быть.

И на девок, которым вроде бы как и делать тут нечего, а они на Еську пялятся круглыми глазищами. Ресницами хлопают, губешки поджимают, носы деруть. Конечно, боярыни, не чета мне.

— Эй ты! — Молодшенькая бойкой была, всю телегу облазила, а старшая-то хворала, в платки пуховые укуталась, только нос наружу торчит. Как не сопрела?

— Слышишь, девка? Моя сестрица желает знать, когда мы наконец приедем?

Я глазом на боярыню покосилась.

А хороша.

¹ *Грукать* — стучать, греметь.

Юна, конечно, но Люциана Береславовна сказывала, что в стародавние времена и в десять годков выдать замуж могли, да и поныне, бывало, только дитя народится, а его уже и сговорили.

— Что молчишь? Тупа слишком, чтобы понять? — Боярынька хлопнула себя по сапожку кнутом.

Все-то ей нейдет..

А я голову опустила.

Дурновата? Может, и верно, что дурновата. Иная б за косу темную ухватила да дернула, на боярское звание не поглядявши. А я терплю что невестушку Арееву хворую, что сестрицу ейную... Как же, Ильюшка просил... Он за ними что за малыми ходит.

— Божиня помилуй. — Боярынька воздела очи к небесам, будто и вправду Божию узреть чаяла.

Я тож глянула. Ан нет, нету Божини... Вона, нетопырек пронесся только. Вечерет, стало быть. Под вечер нетопыри вылазют, мошек ловят.

Рухавые¹ они.

И до белого страсть охочие. У нас, в Барсуках, одной раскрасавице в волосья, помнится, вбился, вот крику-то было. Я представила, как оно б, ежели б нетопырь — и в боярские косы. И так мне смешно стало, что не удержалась, хихикнула. А с того боярыньку прям перекосило всю.

— Ты еще пожалеешь! — зашипела она и кулачком своим худлявым мне погрозила.

А тут аккурат телега на очередную колдобину наскочила и так тряхнула, что не усидела боярыня, плюхнулась поверх мешков не то с мукой, не то с гречей, но одно — пропыленных, грязных, о боярском достоинстве не ведающих.

Ох и зашипела!

Кошкой ошпаренной вскочила — и шусь в конец телеги, в закуток, в котором ее сестрица не то дремала, не то вовсе помирала. Пожалеть бы ее, да... не столь уж добра я, чтоб девку, на чужого жениха позарившуюсь, жалеть. И вот вроде ж разумом понимаю, не ее то вина и не Ареева, а сердце разума не желает слушать. Сердцу-то едино, кто виновен, вот и невзлюбило что красавицу Любляну, что сестрицу ее молодшую.

Оно-то невзлюбило, а я ничего.

Терплю.

Сижу вот. Вожжи в руках держу, семки лузгаю да понять пытаюсь, как оно так вышло, как вышло?

Весна была.

¹ *Рухавый* — отличающийся легкостью, живостью в движениях.

Пришла духмяной волной первоцветов, а следом за ними — покрывалом цветастым, где каждая ниточка — наособицу. Вспыхнула, сыпанула на землю щедрым теплом, дождями пролилась... да и ушла.

Изок, первый летний месяц, стрекотом кузнечиков полный, сессию принес, которую я, к превеликому диву своему, сдала. И не сказать, что сие далось столь уж тяжело. Нет, над книгами пришлось посидеть, да привыкла я к тому, видать, что головой, что задницей... посидела.

Ноченок не поспала пару.

И сподобилась.

И главное ж, супротив опасений, никто не лютовал. Фрол Аксютрович был мягок, Марьяна Ивановна — добра, Лойко и того простила с евонными зельями, которыми только ворогов травить. Люциана Береславовна, конечно, вопросами меня закидала, что навозную яму прелой листвой, да сама ж меня и готовила, а потому нестрашны оказались мне те вопросы. Ответила, сама только диву давалась, как оно выходило-то, что и то знаю, и еще это, и даже то, про которое вроде краем уха слышала, да чего услышала, то и припомнила.

Ага...

Сдала, стало быть.

К огромному бабкиному неудовольствию. Она-то, уставши на перинах леживать — никогда-то за всю жизнь столько не лежала, как за эти два месячика, — с новой силой взялась меня вразумлять. Мол, чего учиться? Этак и до седых волос в Академии застрять можно, а жизнь, она идет-то...

Бежит, прискакиваючи.

И в первый день червения усадила я таки бабку на подводу. Ох и мрачна она была, что сыч поутряни. Губенки поджала. В шубейку, Киреем даренную, укуталась, золотом обвешалась, как только силенок хватило с обручьями да перстеньками сладить. Станька при ней. И жаль ее, поелику ведаю, что вся бабкина обида на Станькину безвинную головушку выплеснется, а оставить в столице... и бабку без пригляду...

— Ты не думай, — Станька меня по руке погладила, — я все понимаю. Захворала она, а поправится — и прежней станет.

Я только вздохнула. Может, конечно, и станет, да... Чем дальше, тем меньше в то веры. Но что уж тут поделаешь? Не отказываться же? Пусть и крепко переменялась моя Ефросинья Аникеевна, а все одно родная, и не бросишь ее, не выставишь за ворота, сказав людям, будто ведать не ведаешь, знать не знаешь...

— Ты ее до тетки Алевтины довези. Она, глядишь, и сподмогнет.

— Ишь, шушукаются, — не удержалась бабка, на мешках с шерстью ерзаючи. — Что, сговорились? Иль, лядащие... бабку спровадят, а сами блудить... За вами глаз да глаз нужон...

И пальчиком погрозила.

А на том пальчике перстней ажно семеро. Царской теще меньше носить невместно.

— Ох, не те ныне времена пошли, не те... — Бабка головой покачала. — Пороть вас некому... Был бы жив твой, Зослава, батюшка, он бы за розгу взялся...

Поцеловала я бабку в напудренную щеку — без пудры она, как и без украшений, ныне на люди не казалась, а я и не спорила, пушай, если ей с того легче, и сказала так:

— Свидимся еще... я летом приеду.

— Кому ты там нужна? — ответила она и отвернулась.

Обидно?

Обидно. И горько. И от этой горечи душа кривится, корезится, что дерево, в которое молния ударила. Ничего, не перекорезится, верить надобно. В то, что сыщется у тетки Алевтины среди трав проклятых тайное средство, которое бабке моей разум вернет и душу залечит. В то, что станет она, как прежде, мудра и к людям добра. Что не забидит Станьку, которая сирота и деваться ей некуда. Что нонче же летом возвернуся я в родные Барсуки... и что не одна.

Муж?

Я сжала половинку монетки, которую ныне носила в мешочке, а мешочек — на веревочке. Веревочкой этой руку обкрутила да слово особое сказала, чтоб не развязалась она, не рассыпалась. Ведаю, что монетка закаятая, захочешь — не потеряешь, а все одно...

А в другом мешочке корень, теткой Алевтиной даденный.

И знаю, что поможет этот корень, надо лишь...

Кому?

Еське, который бабку провожать явился и пряников принес в промасленном кулке? Евстигнею? Он по-прежнему дичится. Лису? Глаза его сделались желты, и знаю я, чую, что треснуло кольцо закаятия. И надобно бы сказать о том, но молчу.

Не может такого быть, чтобы только я сие увидала. Вона, Архип Полуэктович тоже на Елисея поглядывает так, с хитрецей, а ничего не сказывает... так и мне не след.

Братец евонный, напротив, сделался мрачен и задумчив. Он ли?

Емелька тишайший?

Егор?

Лойко? Ильюшка задуменный?

Кто приходил ко мне? Я ж помню разговор, каждое слово. И горечь. И обиду. И за себя, и за него, хотя, казалось, что не-людя жалеть, а вот... Знаю, что из них кто-то, а кто...

Бабку провожала до самых ворот столичных, слезы держала, да только, как подвода скрылась за холмом ближайшим, разрыда-лась. И Кирей, меня приобнявши, молвил так:

— Все переменится, Зослава. И надобно верить, что к луч-шему...

Ох, где бы веры этой прибрать?

Второй день.

И терем мой опустевший.

Щучка сгинувшая. Куда и когда? Кто ж ведает?.. Просто вышла одного дня за ворота и не возвратилась. Еське я об том сказала, а он тихо выругнулся.

— Вот ведь.. сколько волка ни корми, а...

Но знаю, что искал. Сама ему волосья рыжие из гребешка выбирала, сама приносила рубаху ношеную да простынку, на которой Щучка давече леживала. Только не справилось заклатье.

— Закрылась, дура стоеросовая! — Еська только сплюнул. — Ну и ладно... Я ее не обижал. Сама виновата.

И вновь с того грустно сделалось.

А на третий день терем мой вновь ожил. Сперва Кирей явился — с дарами и такой любезный-прелюбезный, что сразу я неладное заподозрила. Он мне шелками азарскими коридор выстилает, а я только и гадаю, чего ж этакого он удумал.

— Вот смотри, тебе зеленое к лицу. — Он накинул на меня шальку, из шелковой нити плетенную, да не просто — круже-вом. — Настоящая княгиня.

А сам уже ларчик раскрывает, вытаскивает серьги тяжелен-ные бурштыновые¹.

— Ты, — говорю, — не юли...

Сама ж шальку снимаю.

Тонюсенскую.

Легонькую.

А греет-то... Без магии не обошлось. И вижу серед нитей обыкновенных — особые, заклатье...

— Говори прямо...

Серьги и мерить не стала, как и браслеты с красными камень-ями. Кирей же вздохнул и почесал затылок.

— Ситуация, — сказал он, на стульчик усаживаясь. Ноги вы-простал на половину комнаты. — Неоднозначная. Я бы сказал, парадоксальная.

¹ *Бурштын* — янтарь.

— Чего? — Но тут вспомнила, как за слово энто ругана была не единожды наставницей, и поправилась: — Что?

— Парадоксальная, — повторил Кирей, будто со второго разу понятней станет. — Такая, что... люди не поймут. Про невесту моего родственничка ты знаешь, так?

Кивнула.

Как тут не узнаешь, если про эту невесту и тараканы по углам шепчутся, да ладно бы тараканы — но и боярыни наши, которые тараканов не в пример зловредней. И главное, шепчутся так громко, чтоб услышала я, до чего боярыня Любляна собой хороша.

И молода.

И родовита.

И вовсе кругом прекрасна, каковой мне, хоть ты семь шкур сыми, в жизни не стать.

— Вот... — Кирей правый рог поскреб. А оный рожек у него кривоватенький, самую-самую малость, а все одно. — И раз уж такое дело... у Любляны брат ведь имеется, это ты тоже знаешь.

Кивнула.

Давеча с ним битый час рисунки рисовали, щит новый составляючи.

— А раз так, то... неприлично девку при живом-то старшем родиче замуж из царского терема отдавать. — Кирей поерзал. И на всяк случай шкатулку свою от меня отодвинул. — Да и Илья челобитные пишет, просит дозволения с сестрами свидеться, а лучше передать их под опеку ему...

И поднос убрал.

А чего? Я только булочку взять хотела. Мне с булочкой сердешные горести легче переживаются.

— И вот матушка решила... — Кирей замолчал и огляделся.

— Говори. — Чую, ничего хорошего с решения евонной матушки мне ждать не след.

— А драться не станешь?

— Не стану, — пообещала я и рученьки за спину спрятала.

— Хорошо... В общем, дело даже не в челобитных. Он о том еще в прошлом году писал, а теперь... и не в приличиях. Плевать ей, честно говоря, на приличия. Но девчонки эти странноватые. И надо бы их из дворца убрать.

Левый рог он тоже поскреб и пожаловался:

— По весне всегда чешутся... подрастают... Еще пара лет, и подпиливать придется.

Я покивала, мол, сочувствую.

— И вот... если их отпустить, то куда? У Ильи своего дома нет. Когда батюшку его обвинили в измене, то и имущества он лишился. С одной стороны, конечно, матушка может волей

своей вернуть Илье дом, но там уж пару лет как пожар приключился...

Ох, мнится мне, что не сам собой приключился.

— Одни уголья и остались. — Кирей сел ровно. — А на тех угольях... я был там... еще лет сто, если не двести, жить нельзя. Не будет добра тем, кто поселится. Вот... Другое поместье дать? Не так их много, свободных, чтоб в столице... И ко всему, ей бы хотелось, чтобы ты с боярынями подружилась.

И вздохнул тяжело-претяжко.

Руками развел.

А я только рот открыла... Она сначала моего жениха этой самой Любляне отдала, а теперь желает, чтоб я задружила?

— Я ей сразу сказал, что дружбы у вас точно не выйдет, — оправдываясь, произнес Кирей. И отодвинулся. Верно, хоть и обещалась я не биться, да глядела не по-доброму. — Но матушка... порой ее сложно переубедить... и завтра она их отпустит. Формально — передаст под опеку брату. До свадьбы, которая состоится в первый месяц осени.

Тихо стало.

Слышно, как гудит под потолком одинокая муха. И молчали мы, друг на дружку гляючи, думали... Об чем Кирей — не ведаю. А я все про свадьбу, которая...

Будет ли?

Первый месяц осени.

До него еще б дожить. Лето только-только началось.

— Зослава, — Кирей пальчиком ткнул меня в плечо, — ты живая?

— Живая, — вздохнула я.

— Согласная?

— А вам откажешь?

— Да как тебе сказать, в теории, конечно, можно, но... матушка...

Ага, которая царица, с ейными планами... супротив их идти, что граблями ветер чесать. Вроде бы и можно, а поди попробуй, просльвешь дурнем, ежель вовсе ветер грабли оные из рук не вывернет да по лбу не приложит.

Я рученькой и махнула.

Мол, пушай едут.

— А чего ты пришел, а не Ильюшка?

Уж кому бы за сестер просить, так ему. Кирей плечами пожал и ответил:

— Меня матушка попросила, а он... может, неудобно?

Неудобно на чужой лавке спать: все плечи смулишь.

Вот так и вышло, что через пару деньков гостей я встречала. Раньше? А не вышло раньше. Терем же к этакому визиту гото-

вить надобно. Там оконца помыть, стены поскресть, дорожки от пыли выбить да из зевов печных пепел повыгребсти.

А заодно уж украсить что стены, что полы плетениями рисованными.

Ох, не прошла мимо меня наука Люцианы Береславовны, даже по нраву пришлось, как распробовала. Вроде ж и силы не берет, да и вовсе немашечки магии в линиях черченных, а на многое они способны. И гостюшки мои меня в том лишь убедили.

Подкатил к воротам возок царский.

Коней тройка. Ногами тонкими перебирают, шеи гнут, красуются. На дуге у заводного бубенцы сладкоголосые звенят-перезваниваются. В гривах пристяжных ленты атласные. Сбруа позолочена.

Возок... ну возок и вовсе золотым мнится.

Задние колеса огромные. Передние махонькие. А меж ними желудем — сам возочек. Оконца круглые, за цветными стеклышками не видать, что внутрих. На дверцах корона.

На крыше будто прыщ, из которого пук перьев золоченых торчит.

От этакой красоты я и обмерла, дар речи утратимши.

Но Кирей меня локотком подпихнул. И, на мрачнющего Арея взгляд бросимши, приобнял. Тот от злости ажно зубами заскрежетал, с лица сбледнул крепко, но что тут сделаешь? Не евоная я невеста...

Он к возку шагнул и дверцу открыл. Отступил, позволяя холопу скамеечку-приступку поставить. Руку подал. Я и застыла, дышать позабывши, когда этой руки другая коснулась. Пальцы белехоньки, прозрачны почти. Ноготки жемчугами.

И жемчугами же рукавчик длинный расшит.

Выплыла боярыня Любляна Батош-Жиневская лебедушкой белой. Глазки потупила. Бледна. Бела... и болезна? А за нею сестрица выпорхнула. Этой-то подмога без нужды. Только шубку, горностаем отороченную, поправила и дом мой окинула взглядом презрительным.

— Вот, значит, где нам обретаться ныне судьба... — Блеснула в глазу слезинка, но не для меня сие, для Ильюшки, который стоял столпом соляным, на сестер глядючи.

От радости ль?

— Доброго дня, — девица чернявая ко мне повернулась, — от имени моей сестры я приветствую гостеприимную хозяйку...

— Зославу, — подсказал Кирей и внове по плечу меня погладил. А сам-то не на боярынь глядел, на Арея. Левым глазом.

Правым — на Ильюшку.

Этак и окосеть недолго... надобен он будет Велимире, мало что рогастый, так еще и окосевший?

— Зославу, — молвила девица, меня разглядывая.

А взгляд-то нехороший.

Глаза темны, но не разобрать, зеленые, аль серые, аль еще какие. Но главное, что от глазу подобного младенчики крикавицу хватают. Бывает, глянет кто, даже краешком самым, а после дитё кричит, заходится, и не спасти его ни сиськой, ни люлькой, ни даже маковым отваром, который детям давать — дело распоследнее. Бабка моя крикавицу лечить умела, да и не хитра наука — под столом дитятко трижды прокатить.

Эта ж уставилась.

И видно... а все и видно в глазах ейных. Что, мол, боярыня она, да не из простых, с кровью царской благословенная, а я — холопка давешняя. И мне б кланяться.

Дорожку красную катить.

Молить о милости.

А я тут стою...

— Что ж, Зослава, — губы дрогнули, в улыбке складываюсь, — мы с сестрицей с дороги притомились...

И вновь глядит.

А недовольная... с чего б? И куда им томиться, когда той дороги — от царских палат до терема моего — тихой ходьбы час. Они ж не ножками, на возку ехали.

Кирей рученьку сжал.

Боярынька вовсе перекивилась.

— Дозволено ли, — голос ее сделался сух и скрипуч, — будет нам войти и отдохнуть в доме твоём?

А сама на притолоку глядит, где я нонешней ночью узор малевала. Хороший такой узор из заветного альбома Люцианы Береславовны.

Ильюшка тоже к дому повернулся.

И к сестрице.

Открыл рот, желая сказать что-то. Кирей же плечико мое сдвинул сильней. Не молчи, Зослава. А я чего? Улыбнулась, как сумела.

— Будьте в доме моем гостями желанными...

Ох, полыхнули глаза боярыни гневом.

— Значит, приглашаешь войти?

— Приглашаю... войти...

— Меня и сестрицу мою?

— Тебя и сестрицу твою...

Она юбки-то подобрала и ко мне спиной повернулась. По ступеням не взошла — взлетела, дверью только хлопнула, ключ-

ницу мою, женщину степенную, Киреем мне в подмогу приведенную, напугавши.

— Простите мою сестру, — прошелестела Любляна голоском слабым. И на Ареевой руке повисла, белым-бела, глядишь на нее и знать не знаешь, проживет ли боярыня еще денечек.

Мнится, и денечек.

И другой.

И третий... и до осени дотянет, до самой свадебки... И пусть говорят мне, что приневолители ее, да вижу я, как она на Арея глядит. От этого взгляда злость во мне появляется, и такая, что просто силов никаких нету терпеть.

— Спокойно, Зось. — Кирей к самому уху наклонился. — Улыбайся шире... Чем оно поганей, тем улыбка шире.

— А щеки не треснут? — тихо же спросила я.

Но куда деваться? В дом пошла. К гостям дорогим. За стол звать, беседу беседовать. Ну, за стол-то я усадила, и мнится, что стол этот был мало царского хуже.

Были тут и гуси с капустой квашеной печеные.

И вепрячье колено. И караси жареные, и белорыбица рассыпчатая с подливой клюквенной. И пироги всяко-разные. И даже цельный порось молочный с яблоком в пасти.

Клецки в молоке.

Сливки коровьи с сахаром топленые.

Ягоды вываренные, в тонюсенькие лепешки уложенные да скатанные трубочками...

Иного я сама не едала. Да только за столом энтим кусок в горло не лез.

Сидят боярыни, старшая подушками обложена, потому как зело слабая. Младшая пряменька, по правую руку сестрицы устроилась. Эта ест так, будто в тереме царском впроголодь их держали, а старшей знай кусочки махонькие подкладывает.

Любляна то клюковку в рот положит и скривится.

То от крыла лебязьего отщипнет и вздохнет тяжело-претяжко.

То лизнет шляпку груздя соленого и вовсе слезу пустит, будто бы жаль премного ей этого груздя... А младшая шляпку с вилки снимет и в рот сунет, куриную ляжку закусывая. И кусок свинины положит. И репы печеной с пряными травами. И горку из яиц перепелиных копченых. И жует, главное, сосредоточенно, будто не было дела важнее.

— Растет она. — Любляна платочком слезинку поймала. — И нервы... С нервов Маленка ест, как не в себя... после мается...

Арей кивнул:

— А у меня наоборот. Надо бы есть, но не могу. Чуть поем, и живот крутит.

— Льяное семя пить надобно. — Мне это молчание поперек горла было, на похоронах и тех веселей. — А еще я отвар сделаю...

— Царские целители уже делали...

— Я не царского, но от глистов. — И Маленкин взгляд недобрый выдержала. Не младенец, чтоб криком зайтись.

— С чего ты, девка, решила, будто у моей сестрицы глисты? — У Маленки ажно кусок хлеба изо рта вывалился.

— И не только у нее. Это ж признак первейший, когда один ест и наестся не способен, значит, внутри у него черви сидят, которые на этой еде жиреют. А если червяков много плодится, то набиваются они в живот, и еда в него уже не лезет.

— Ужас... — Любляна глазки прикрыла.

— Не слушай эту дуру. — Маленка сестрицу по руке погладила и к Арею повернулась: — Разве ты не видишь, что эти разговоры не для стола? Она и так ничего не ест...

— Может, — Арей криво усмехнулся, — и вправду стоит отвару какого выпить?

Любляна всхлипнула, и по щеке ее скользнула хрустальная слеза. Только, может, и черства у меня душенька, а не поверила я оной слезинке. Помнится, сказывала как-то тетка Алевтина, конечно, не мне, но бабке моей, про то, как ее в Конюхи позвали к женщине одной, которая все помирала и помирала. Мол, и есть ничего не ест, и пить не пьет, росинкой маковой за целый день живая, и не понять, в чем душенька держится. И что мучают ее боли страшные, нутряные, цельными днями только лежит и стогнет жалостливо.

Тетка-то Алевтина поехала.

Не может отказать она человеку, когда оный головой о порожек бьет, умоляючи. Собралась. Травки свои прихватила. Оно-то, может, смерть и незваная гостьюшка в доме, да только порой долгожданная. Потому как коль и вправду хвороба нутряная, канцером в Академии именуемая, приключилась, то спасения от нее нетушки, одно в силе Алевтининой — помочь по-своему, от боли и мук избавивши. Но не о том же ж... Приехала она и глядеть, что женщина та вроде б и лицом бела, болезна, да только телом уж обильно зело. С голоду так не опухнешь.

Да и жаловаться жалуетса голоском слабеньким, а зятя своего шпынять — так сразу голос и прорезается. А после спохватится и стонет, стонет, ажно заходится. Тетка-то Алевтина сразу скумекала, что дело-то непростое. Велела она всем уйти, мол, вселился в болезную дух зловердый и тетка Алевтина будет его выманывать и караулить. И главное, что невозможно никому, окромя болезной и самой Алевтины, в доме быть, потому как уж